© Laboratorium. 2015. 7(1):122–135

«Больше писать не хочется»: Большой террор и дети репрессированных. Опыт рассмотрения дневников двух юных комсомольцев

Артём Кравченко

Артём Кравченко – сотрудник магистерской программы «Public History» в Московской высшей школе социальных и экономических наук. Адрес для переписки: пр-т Вернадского, 82, Москва, 119571, Россия. artemioskravchenko@gmail.com.

На основании анализа дневников двух советских детей, родители которых были репрессированы в период Большого террора, в этом эссе предпринята попытка рассмотреть, как авторы дневников перерабатывали травматический опыт и как согласовывали его с собственной идентичностью. Важной в такой ситуации, разумеется, становится фигура умолчания. Однако, по-видимому, конфликт между официальной советской картиной мира и собственным опытом не мог быть разрешен таким образом. В дневниках все отчетливее становится собственное интимное пространство, отделенное от советских коллективистских идеалов. У авторов это происходит по-разному, но в обоих случаях стремление к самоидентификации в качестве образцового советского человека не может оставаться единственным или доминирующим сюжетом. Не подвергая сомнению советские идеалы, авторы активно создают собственное, личное, интимное пространство, которое уже не встраивается в «большой» официальный мир.

Ключевые слова: история детства; сталинизм; репрессии; Большой террор; дневники; советский человек; дети репрессированных

Характерной чертой для 1920–1930-х годов в СССР является «существенный рост практик, стимулирующих рефлексию и работу над собой». По замечанию Йохана Хелльбека, «"Я" как идеологический проект приобрел в это время чрезвычайную важность» (2002:399). Этот период представляется не просто временем громадного социального эксперимента, но временем, когда воздействие государственной идеологии на конструирование индивидуального «Я» достигло небывалых масштабов и глубины. В наибольшей степени этот процесс самоконструирования оказал влияние, разумеется, на детей и подростков – людей, чей личный опыт был ограничен рамками практик советского общества-эксперимента. Их дневники представляют чрезвычайный интерес с точки зрения конструирования личной идентичности в условиях сталинского общества 1930-х годов, особенно в тех случаях, когда авторы дневников напрямую соприкасаются с противоречием официальной риторики и практики советской действительности. Опыт столкновения с незаконными репрес-

сиями в отношении семей авторов дневников представляется наиболее радикальным и в то же время достаточно распространенным (и даже – массовым) вариантом столкновения между риторикой насаждаемой идеологии и практическим опытом отдельного человека. На двух подобных дневниках хотелось бы остановиться подробнее. Их авторы – Олег (Чинар) Черневский и Нина Баснер[1]. Оба дневника относятся к периоду 1937–1939 годов, столкновение с репрессивной системой происходит, когда авторы достигли подросткового возраста и, очевидно, уже способны к последовательной рефлексии над сложившейся ситуацией. При этом авторы дневников – очень разные люди: это девушка и юноша, одна живет в детдоме в провинции, другой – в собственной квартире в Москве; семья одного обеспеченна, другой – вполне обычного достатка и т.п. Именно эти многочисленные различия позволяют предположить, что то общее, что можно найти в этих дневниках (прежде всего – о взаимодействии с окружающей советской действительностью), будет характерно и для других подобных документов.

Следуя концепции «советской субъективности» (разработанной Йоханом Хелльбеком и Игалом Халфиным), которая в качестве ключевого фактора конструирования и формирования «Я» жителей советской страны выдвигает язык, мы не будем пытаться искать потаенный субъект, лежащий вне практик нарративной саморепрезентации авторов дневников. Как отмечала еще Ханна Арендт, именно «самопонимание и самоинтерпретация является основой всякого анализа и интерпретации» (цит. по: Хелльбек 2002:400); или, говоря словами Хелльбека, «прежде чем читать между строк, мы должны прочитать сами строки автобиографических источников» (400). В то же время это не означает отсутствия внимания к «фигуре умолчания». Напротив, в ситуации очевидной травмы[2], с которой сталкиваются авторы дневников, фигура умолчания приобретает особую значимость[3].

Любой травматичный опыт сам по себе имеет тенденцию укрываться за «занавесом» молчания и разговора о другом. Однако в условиях советского общества времен сталинизма было просто невозможно публично говорить о репрессированных близких еще и потому, что такой разговор становился источником опасности для самого говорящего. Не могли не понимать этого даже подростки.

---

[1] Оба дневника не опубликованы и хранятся в архиве общества «Мемориал» в Москве.

[2] Я исхожу из определения травмы (физической и психической), предложенного Джулиет Митчелл. Она пишет, что травма – это то, что «наносит такой ущерб нашей защитной оболочке, что справиться с ее последствиями при помощи обычных методов, к которым мы прибегаем при переживании боли и потери, оказывается невозможно» (Митчелл 2009:785). Говоря о «защитной оболочке», Митчелл проводит параллель между собственно телом и психосоциальным существом человека – «любая одушевленная материя может быть травмирована». Реакция на повреждение при этом происходит на «психосоциальном уровне», а важнейшую роль при исследовании любой травмы играет язык, который должен рассматриваться во взаимодействии с разными аспектами психики (786). Точного определения того, что такое «обычные методы», Митчелл не предлагает – вероятно, речь идет о любых проявлениях, которые не будут трактоваться как патологические (грань между нормой и патологией, естественно, зыбка – потому и четкую границу между травмированным и не-травмированным вряд ли можно провести).

[3] О связи травмы и молчания см. Ушакин и Трубина (2009).

Чрезвычайно важными кажутся также представление о субъективности как «исторически обусловленной форме Я (*selfhood*)» и убежденность в том, что «интересы всегда заранее структурированы политическим языком» (Халфин и Хелльбек 2002:218). Тем более, что новое поколение детей и подростков в наибольшей степени восприняло новый политический язык как «естественный». Вследствие этого в отношении авторов рассматриваемых дневников справедливым представляется следующее суждение: «если "Я" определялось через революционные понятия "чистоты", "сознания" и социальной принадлежности, то выступление против революционного государства, воплощавшего эти ценности, могло подорвать самоидентификацию автора текста. Таким образом, критически мыслящий человек сталкивается с угрозой "прогрессирующей самомаргинализации"» (Хелльбек 2002:398).

«НЕКОТОРАЯ БЕССЛАВНАЯ ГОДОВЩИНА»: ДНЕВНИК ОЛЕГА (ЧИНАРА) ЧЕРНЕВСКОГО

Олег (Чинар) Черневский планомерно вел дневник с 1934 года, в это время он был учеником седьмого класса. В ноябре 1937 года, когда был арестован его отец (а затем и мать), он учился в выпускном десятом классе одной из московских школ. Именно на периоде 1937–1938 годов будет сосредоточено внимание при анализе его дневника.

Первые тетрадки-дневники Черневский заполнял не ежедневно, часто записи были совсем короткими, но постепенно они становятся длиннее, делаются более регулярными. Своеобразным «переломным» моментом стало 1 июля 1936 года, когда автор оставил следующую запись: «С сегодняшнего дня я решил писать дневник в тетради, не ограничиваясь объемом. Буду писать разное количество, в зависимости от времени» (Дневник Черневского, 1 июля 1936 года). При этом практически на протяжении всего времени с 1934 по 1941 год в дневниках Черневского сохраняется единая структура записей, которая сформировалась достаточно быстро[4].

Можно предположить, что дневник Черневского изначально представлял собой попытку самодисциплинирующего проекта советского школьника; взрослея, автор делает записи в нем все более регулярно. Дополнительная степень отстраненности между автором дневника и его героем появляется, когда Чинар в течение длительного времени пишет о себе в третьем лице: «Чинар сходил», «Чинар получил», «Чинар читал». Обычной практикой в этот период было то, что для фиксации работы по самосовершенствованию «авторы дневников постоянно обращались к таким концептам как "планирование", "борьба" и "сознательность"» (Hellbeck 2006:67). Чинар здесь не был исключением. Даже само представление о дневнике как собрании интимных текстов, которые недоступны ни для кого, кроме автора (во всяком случае в процессе написания), поначалу не было ему свойственно. Напротив, Чинар

[4] Запись каждого дня содержала следующие элементы: время, когда автор проснулся и когда лег спать, в случае посещения им школы/института – информацию об оценках, успеваемости; информацию о прочитанных в течение дня текстах. Разумеется, записи могли содержать и рассуждения Черневского на любые другие темы, описание различных событий и пр., но указанные элементы сохранялись практически всегда.

периодически дает их почитать то Асе (Анне) Ивановой (однокласснице, в которую влюблен), то другу Марату Новгородцеву. Ася, впрочем, однажды отмечает, что они не сразу договариваются об обмене дневниками и что «дневник – это душа человека, а если он не хочет ее рассказывать, значит, он не доверяет, значит, надо ждать или совсем отказаться от этой мысли» (Дневник Черневского, 9 октября 1937 года), тем не менее обмен дневниками очевидно выступает как понятная и вполне обычная для них практика. При этом попытки самоанализа и самоконтроля (успеваемости в школе, количества упражнений на подтягивание, прочитанных книг и пр.) сочетаются на страницах дневника с характеристиками одноклассников: «Нужно будет еще по совету Лёвы написать в дневник характеристики своих товарищей, с кем я особенно близко знаком: Марат Н., Лёва З., Толя Б.» (Дневник Черневского, 4 декабря 1936 года). Среди прочих Чинар приводит и характеристику уже упоминавшейся и пленившей его сердце Аси[5]. Вполне в духе эпохи Чинар неоднократно пытается рационально оценить качества своей «симпатии», подвергая ее на страницах дневника критике и приходя к выводу, что она не слишком хороша – не член «актива», недостаточно «организованна», склонна к «кокетству» и пр. Впрочем, он тут же находит ей оправдания. Вполне обычно и то, что Черневский может обсуждать разные качества ее характера с одноклассниками (естественно, с целью помочь своему товарищу двигаться по «верному пути»).

При этом совершенно очевидно, что склонность к попытке систематизации и рационализации межличностных отношений характерна не только для Чинара, но и для большинства его одноклассников. Даже Ася (кажется, «кокетничая» с Чинаром) чертит специальную схему на двух осях. Одна ось – временна́я. Другую ось, вероятно, можно условно назвать «осью чувств». Состоит она из семи следующих уровней: отвращение, ненависть, равнодушие, дружба, товарищеское отношение, увлечение, любовь. Ася рисует две схемы: одну – для Чинара, другую – для его друга (и соперника в борьбе за Асю) Марата. Она показывает, что в данный момент ее отношение к Марату достигло уровня «любовь», а к Чинару находится только на уровне «увлечение». Черневскому идея подобной схемы явно нравится, и позднее он составляет в собственном дневнике гораздо более основательную схему-модель своего отношения к Асе. Характерно, что в этой иерархии «дружба» находится ниже «товарищеского отношения» (повторяется это и в схеме Аси, и в схеме Чинара). Это косвенно подтверждает меньшую значимость более приватных, частных дружеских отношений по сравнению с товариществом как отношениями, связанными с единством в бóльшей общности[6].

---

[5] «Иванова Анна (Ася). Моя симпатия. Имеет хорошую наружность. Хотя нос не совсем хорош, но все-таки, пожалуй, самая красивая в классе. Поступила в начале этого года в комсомол, что лично для меня было большой неожиданностью. Учится прилично, хотя не ладит с математикой. О характере нельзя сказать что-нибудь определенное. Она умна, начитанна, умеет вести разговор; но очень кокетлива, любит строить мины, которые к ней идут; или, например, топнуть ногой, взвизгнуть и прочие штучки выкинуть. Привлекает к ней больше всего, конечно, наружность» (Дневник Черневского, 5 декабря 1936 года).

[6] О соотношении понятий «дружба», «товарищество», «любовь» в рамках эмоциональных отношений детей в советской культуре см. Келли (2013:38–73).

Дневник Чинара обнаруживает связь с советским проектом построения «нового человека». Отражает он и тесную связь его автора с молодежными коммунистическими организациями. Вступление в комсомол вызывает у Чинара множество эмоций. Так, он сообщает: «группа решила рекомендовать меня в комсомол». При этом замечает: «еще не комсомолец, а мне уже нагрузку, быть помощником вожатого в 4Б классе» (Дневник Черневского, 29 октября 1936 года). Далее: «Принимали на комитете в комсомол. Задали мне ряд трудных вопросов, биография Тухачевского… Я плохо отвечал. Решили рекомендовать меня в кандидаты. Я это переживал» (Дневник Черневского, 31 октября 1936 года).

Симпатии к комсомолу носили у автора дневника вовсе не конъюнктурный характер. Все ключевые даты советского календаря отмечены в дневнике. Чинар не забывает упомянуть ни об очередной годовщине смерти Владимира Ленина, ни о годовщине 9 января и т.п. Особый интерес у него вызывают судебные процессы над врагами советской власти. Он не просто упоминает о них, он выражает свою позицию. Так, в начале 1937 года записывает: «Утром слушал приговор по делу троцкистского центра. Приговор получился довольно милостивый: расстрел не для всех. Радека, Сокольникова и Арнольда приговорили к 10 годам, а Строилова даже к 8 годам. Остальных 13 обвиняемых […] к расстрелу. Удивительно, как избежал смерти Радек, ведь он один из ярых троцкистов. Вообще приговор довольно неожиданный» (Дневник Черневского, 30 января 1937 года). Более того, новости о поимке «врагов» часто вызывают у автора дневника радостные эмоции: «Дома в газете читал о раскрытии шпионского гнезда в составе Тухачевского, Якира, Уборевича, Эйдемана, Корка, Путны, Примакова и Фельдмана. 1 маршал и все остальные ромбисты, вот здорово, неожиданно» (Дневник Черневского, 11 июня 1937 года).

Однако осенью 1937 года семья самого Чинара оказывается в фокусе внимания НКВД – арестовывают отца. Мальчик оставляет короткую запись об этом дне: «В два часа ночи будят. В квартире обыск. Ужас. Кончился обыск в 1 час [дня], забрали папу. Ужасно. Попрощался по-хорошему. Последние его слова ко мне: Будь хорошим комсомольцем, береги маму. В школе получил два “отлично”. За немецкий и геометрию. Не могу писать. Жутко. Из школы знает только Паша. Лег в 8» (Дневник Черневского, 16 ноября 1937 года). Запись о следующем дне уже не содержит упоминаний об отце – только спал Чинар теперь до 11, и фраза «дома опять убирал стол» косвенно говорит о несколько нервозной атмосфере. 18 ноября Чинар во второй и последний раз напрямую пишет в дневнике об аресте отца. Он признается: «Меня волнует, мучает вопрос, виновен ли папа». И сам же на этот вопрос отвечает, очевидно дописав позже: «По всем данным – да» (Дневник Черневского, 18 ноября 1937 года).

Меньше чем через два месяца, 5 января 1938 года, арестовывают и мать Чинара. Запись в дневнике теперь гораздо более спокойная, чем при аресте отца: «Ночью был обыск и арестовали маму. Все это пережилось гораздо легче» (Дневник Черневского, 5 января 1938 года). Более того, следующий день Чинар проводит согласно дневнику более или менее обычно и даже «весело»: «Утром ходил в школу, посидел там часок, пошел поездить на лыжах, но раздумал, т.к. не выспался и

холодно. Приходил Игорь, с ним часа 3 поиграли очень весело. В обед пришли и запечатали комнату в 17 м^2. Еле успели оттуда вынести самое необходимое. Остаемся в 2-х комнатах. Написали письма Але, Коле, Зюке» (Дневник Черневского, 5 января 1938 года). Единственное, что можно расценить как косвенное свидетельство стресса – это то, что у автора «весь день болит зуб». Не прекратится эта боль и в последующие дни, пока 14 января Чинар не посетит стоматолога.

После этого прямые упоминания об аресте родителей в дневнике не встречаются. Дважды Чинар вспоминает об аресте отца – через месяц и через год после этого события: «Сегодня некоторая бесславная годовщина» (Дневник Черневского, 16 ноября 1938 года). Ни разу – об аресте матери. Нет рассуждений и о том, как воспринимает исчезновение родителей младшая сестра Чинара – Гела. Лишь в фрагментах дневника Аси, которые Чинар переписывал в собственный дневник в мае, мы можем обнаружить следующую фразу: «Гела не выходит из головы, хочется ей помочь, ведь у нее сейчас много ошибок, в частности, по отношению к родителям» (Дневник Черневского, 11 мая 1938 года). Что это за «ошибки», так и остается неизвестным. Об относительном безразличии к родственным связям свидетельствует также сделанный Чинаром 31 января 1938 года схематический рисунок сердца, заполненного разными людьми (повторяющий рисунок, сделанный Асей), в котором не находится места не только отцу или матери, но даже сестре Геле. При этом в «сердце» Аси нашлось место не только для собственных родителей, но и для сестры Чинара, которую она называет «Солнышко».

И все же дневник Чинара после ареста родителей не остается прежним. Наиболее очевидное изменение – возникновение темы, связанной с непонятным положением в квартире, – все время возникает вопрос о выселении. Чинар и Гела долгое время находятся в состоянии неопределенности, проходят описи, опечатывают комнаты – и это отражается в дневнике. Разумеется, эта неопределенность вызывает тревогу[7]. И, видимо, поэтому Чинар записывает: «Немного поганое настроение. Будущее представляется мрачным, настоящее надоело, серо, приелось. Задумываешься о философских вопросах, вроде Левина о смысле жизни. Такая дурь» (Дневник Черневского, 31 декабря 1937 года).

При этом Чинар продолжает следить за «политикой», упоминает ключевые советские даты и юбилеи, пишет «Ура!!!» во время очередных выборов в Верховный Совет и т.п. Он по-прежнему следит и за судебными процессами над «врагами», но теперь уже не дает никаких оценок, а лишь излагает факты. Например, сухо пишет: «Военной коллегией Верховного суда приговорены: Бухарин, Рыков, Ягода, Крестинский, Розенгольц, Иванов Вл. Ив., Чернов, Гринько, Зеленский, Ход-

[7] «Вещи казенные увезли (3 кровати, буфет, диван, шкап)» (Дневник Черневского, 16 декабря 1937 года); «о выселении пока ничего не слышно. Сегодня 20-летие ВЧК–ОГПУ–НКВД» (Дневник Черневского, 20 декабря 1937 года); «было разъяснение, в котором пункт о выселении в первом постановлении аннулировали в отношении нас […], так что живем в полном смысле этого слова», «о выселении почти уже известно» (Дневник Черневского, 23 декабря 1937 года); «Гела на перемене мне сказала, что опечатали квартиру […], оказалось, что выселение приостановили на неопределенный срок» (Дневник Черневского, 28 декабря 1937 года) и т.п.

жаев, Шарангович, Зубарев, Буланов, Левин, Казаков, Максимов-Диковский и Крючков – к расстрелу. Плетнёв на 25 лет, Раковский на 20 лет и Бессонов на 15 лет тюремного заключения» (Дневник Черневского, 31 марта 1938 года). В то же время можно встретить в дневнике и довольно странные, вызывающие вопросы, высказывания о политике. Например: «Дома читал доклад т. Сталина на XVI съезде и даже понравилось» (Дневник Черневского, 25 апреля 1938 года). Неясно, почему здесь возникает слово «даже»: разве мог доклад вождя на съезде не понравиться образцовому юному советскому гражданину? То ли на фигуру Иосифа Сталина падает тень, то ли (что более вероятно) с меньшим восторгом воспринимается теперь вся партийно-государственная риторика. Кроме того, теперь в дневнике иногда встречаются упоминания о том, что родители того или иного знакомого Чинара тоже были арестованы. Например: «Вчера встретил Володю Ромашкина, у него недавно арестовали отца и теперь выселяют из квартиры» (Дневник Черневского, 6 ноября 1938 года).

Наконец, есть еще одна не слишком явная, но все же устойчивая тенденция, которая кажется косвенно связанной с арестом родителей (хотя доказать прямую связь вряд ли можно). Приблизительно в то же время, когда Чинар лишается родителей, происходят изменения во взаимоотношениях с Асей – эти отношения все больше переходят в личную, скрытую от посторонних глаз, сферу. Меньше чем через неделю после ареста отца Чинар пишет, что «в школе интересны были только отношения с Асей» (Дневник Черневского, 23 ноября 1937 года). Чуть больше чем через неделю после ареста матери он делает крупную надпись красным карандашом (что не характерно для его аккуратного дневника): «Ура дружбе с Асей. Можно и красного карандаша подпустить. Милая Ася… Такую прелесть надо хранить до смерти» (Дневник Черневского, 15 января 1938 года). Отношения с Асей абсолютно очевидно отражаются в дневнике как что-то, что должно быть скрыто от внешнего мира, нечто глубоко интимное. Держась за руки во время прогулки, они стремятся не попадаться никому на глаза и разрабатывают «стратегический план» прогулок. Чинар излагает в дневнике «теорию поцелуев» и т.п. (Дневник Черневского, 3 марта 1938 года). Разумеется, все это в целом отражает процесс «взросления» и выглядит как вполне закономерное, типичное изменение для школьника соответствующего периода. Важнее другое: хронологическое совпадение с травмой, вызванной арестом родителей, и то, что Чинар доверяет эти сведения своему дневнику. Дневник все больше приобретает черты интимного по своему характеру пространства, а не дисциплинирующего инструмента самоконтроля. Это рождение интимности и кажется симптоматичным. Причины его можно увидеть и в восполнении потерянного единства собственной семьи, и в компенсации травмы, вызванной арестом родителей. Чинар последовательно создает пространство, никак не связанное с советскими идеалами, – не вступая в открытое противостояние с господствующей и разделяемой им самим идеологией, он дополняет свою жизнь чем-то, что явно не согласуется с этой идеологией. Оставаясь идейным комсомольцем и активистом, автор дневника все же отходит от последовательных коллективистских установок. Если «базовым механизмом

сталинской индивидуализации было "проявление себя" или выявление личности посредством коллектива, обсуждающего дела каждого из своих членов, чтобы быть уверенным в их внутренних качествах» (Хархордин 2002:65), то Чинар отдаляется от этого механизма. Этот процесс очевиден хотя бы потому, что многие его записи связаны с осознанием сексуальности и не предназначены для коллективных обсуждений: «Проводил Асю, она была сегодня особенно нежна ко мне. Я пощупал ее грудки и то ничего» (Дневник Черневского, 5 мая 1938 года). Впрочем, меньше чем через год Чинар уже напишет: «Решил немного меньше писать в дневник» (Дневник Черневского, 5 октября 1938 года). Постепенно его записи становятся все более короткими и эпизодическими.

«ОХ, КАК ХОРОШО, ЧТО МНЕ ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ!»: ДНЕВНИК НИНЫ БАСНЕР

В отличие от дневника Черневского, самые ранние записи в котором сделаны еще автором-семиклассником в 1934 году, дневник Нины Баснер содержит записи только за период 1938–1939 годов. В это время его автор уже находилась в детском доме неподалеку от Жмеринки (центральная часть Украины) и не имела контакта с репрессированной матерью. Мы не видим реакции автора дневника на действия машины террора, нет у нас и более ранних дневников. Записи Баснер заметно отличаются от ежедневных записей Черневского – появляются они нерегулярно, чаще всего не содержат подробного описания дня (только отдельные эпизоды и впечатления). При этом иногда Баснер чрезвычайно подробно пересказывает сюжеты прочитанных ею книг. Кажется, что ее дневник с самого начала более личный, он не предназначен для прочтения (по крайней мере – немедленного) кем-либо, кроме автора. И действительно, мы не находим информации о том, что Баснер специально давала кому-то читать свой дневник. Напротив, в одной из записей сказано, что она беспокоится из-за того, что одноклассница брала дневник без спроса. Однако не стоит верить на слово автору, который будто бы совсем не берет в расчет возможность прочтения своего дневника посторонними. Показателен в этом отношении следующий фрагмент одной из записей: «Вот пишу сейчас дневник, а сама удивляюсь, как пишу, потому что в комнате много ребят. Я хочу сохранить свой дневник в секрете» (Дневник Баснер, 10 июля 1939 года). При этом сама ситуация, в которой Баснер принимает решение возобновить дневник, кажется типичной для эпохи. Она пишет о том, что ее «избрали на пионерский слет, посвященный XX съезду ВЛКСМ», который проходил в недалекой от детдома Жмеринке. Там ей сказали, что примут в комсомол: «Я была очень рада. Меня выбрали в президиум и я также приветствовала съезд» (Дневник Баснер, 20 октября 1938 года). Именно после этого ей «захотелось вести дневник». Начало ведения дневника и здесь связано с влиянием советского общественного дискурса, со стремлением к самосовершенствованию, с процессом «выковки» «советского человека».

Вообще комсомол, партийные дела и все, что связано с политикой, однозначно трактуются в дневнике как возвышенное, переполняющее автора радостью:

Вот радостный веселый день сегодня
Мой первый комсомольский день
Как рада я, что я уже в комсомоле,
Как рада я, что мне пятнадцать лет. (Дневник Баснер, 27 октября 1938 года)

Или:

Года проходят незаметно,
15 лет уж мне сейчас,
А как прекрасно и чудесно
Страна растет за каждый час!

Недавно галстук я носила
И пионеркою была.
Сейчас я в комсомол вступила
И КИМ гордясь ношу всегда. (Дневник Баснер, 23 февраля 1939 года)

Второе стихотворение в дневнике Баснер предваряется следующей записью: «решила теперь меньше интересоваться личными делами, а направить стихи в правильную сторону, описать жизнь настоящих советских школьников» (Дневник Баснер, 23 февраля 1939 года).

На страницах дневника Нина вообще многократно и на разные лады радуется тому, что живет в такую эпоху, что связана с комсомолом: «Ох, как хорошо, что мне пятнадцать лет! Как хорошо, что я живу в такую счастливую эпоху! Как хорошо, что я комсомолка!» (Дневник Баснер, 27 октября 1938 года). Уход из комсомола кажется ей чем-то невозможным – она пишет об этом, рассказывая об отчислении из комсомола ее знакомого Чайковского: «Неужели он не в комсомоле? Мне до сих пор не верится» (Дневник Баснер, 28 октября 1938 года). Не подвергается сомнению на страницах дневника и величие Сталина. Так, уже в качестве пионервожатой Нина по собственной инициативе устраивает разговор о Сталине со своим отрядом: «Ходила к хлопцам. Рассказывала им сказки, а заодно задала вопрос о Сталине. В следующий раз обязательно постараюсь рассказать им письмо ребят Гори тов. Сталину» (Дневник Баснер, 16 апреля 1939 года).

Тем не менее в некоторых фразах Баснер можно разглядеть закрадывающееся сомнение в правильности происходящего: «Я дала обещание, клянусь, что всегда буду бороться за строительство коммунизма. Да и как я могу иначе поступить? Я всегда буду предана стране» (Дневник Баснер, 20 октября 1938 года). Нет ли в этом фрагменте косвенного указания на то, что автор дневника пытается оправдаться перед самой собой за то, что сохраняет лояльность и преданность советской идеологии?

Однако общий восторженный настрой в отношении всего происходящего в комсомоле, партии и стране в целом, разумеется, доминирует. Иначе выглядят записи, которые посвящены бытовой стороне жизни в детском доме. Они будто написаны другим человеком – не полным энтузиазма, а напротив – усталым и изможденным: «Кормят ужасно, несмотря на то, что 3 раза в день. Жизнь какая-то идиотская! Если бы только кто-нибудь почувствовал, как жить в таких условиях. [...] На лице у меня какие-то прыщи, на теле чирьи, на руках чесотка, в голове

гниды и вши. Вот особенности моей жизни» (Дневник Баснер, 8 ноября 1938 года). Или даже: «Кормят нас ужасно. За весь день я во рту ничего не держала» (Дневник Баснер, 22 декабря 1938 года). Жалобы перемежаются риторическими вопросами о том, в чем причина столь тяжелой ситуации. И ни разу не называется адресат этих вопросов. Кто должен отвечать за эти несправедливости? Баснер, например, пишет: «В д. доме свирепствует сыпной тиф… За целый день так устала, что невозможно. А тут еще тетя Шура поручила мне следить за простынями, а они пропали. Опять будет скандал. Так тяжело. А почему? Почему тяжело? Хочется плакать, слезы появляются на глазах, но не льются» (Дневник Баснер, 8 ноября 1938 года). Или: «Уеду ли я отсюда? Неужели в этой грязи и несправедливости можно провести так много времени?» (Дневник Баснер, 22 декабря 1938 года).

В отличие от Черневского, который после ареста родителей практически не упоминает о них на страницах дневника, Баснер снова и снова вспоминает мать. Она не пытается рефлексировать о причинах разлуки, но постоянно пишет о своей привязанности. Каждый раз, упоминая в дневнике о контакте того или иного детдомовца с матерями, она вспоминает о своей матери: «За Вовкой Босяком приехала мать. Она была раньше на высылке. Такая страшная она, хотя я Вовке завидую […]. Мать сейчас не имеет работы и взять его не может. А если моя мама выйдет, какая она будет? Мне страшно становится, что я увижу ее старую, измученную, оборванную» (Дневник Баснер, 13 ноября 1938 года)[8]. Она также пишет: «Все же очень люблю маму. Мне жалко ее» (Дневник Баснер, 15 августа 1939 года).

Как и у Черневского, значительную часть дневника занимают у Баснер «романтические» переживания. Сначала она упоминает о своей влюбленности в Женю («Ведь я любила раньше Женьку М. А сейчас я никого не люблю… Я больше не буду любить. Ведь любить так тяжело!!!» (Дневник Баснер, 11 декабря 1938 года))[9]. Потом влюбляется в Вилю, который учится классом старше: «Так часто снится Виля. Нет дня, чтобы я о нем не думала. Это называют любовью. А как хорошо любить! Но все же как тяжело не видеть того, кого любишь!» (Дневник Баснер, 18 июля 1939 года). Наряду с «партийной» темой важным предметом стихов Нины являются любовные переживания:

Ты не узнаешь, что и как
Я написала второпях,
Сей стих пишу только себе,
Но посвящаю я тебе.

Значок ты КИМ будешь носить
И в институт начнешь ходить,
А я – лишь школу посещать
И вечером сей стих читать. (Дневник Баснер, 17 апреля 1939 года)

---

[8] Или: «Сегодня Д. получила телефонограмму от матери, которая спрашивает о ней. Мать ее в Акмолинске, где Юники и Энелы матери. Очень бы хотела, чтобы и моя мать была там. Получу ли я от нее какое-нибудь известие?» (Дневник Баснер, 7 апреля 1939 года).

[9] Или: «Сколько человек мне уже нравилось?!!! Полюблю ли я еще кого-нибудь так, как любила Женьку?» (Дневник Баснер, 10 января 1939 года).

Как и в случае с Черневским, в самом факте влюбленности для автора дневника нет ничего необычного. Однако важно отметить – несмотря на то, что «сталинская эпоха придает соотнесению возможных значений слова “любовь” именно социальную доминанту» (Богданов 2008:31), в дневнике проявляется совершенно отчетливая тенденция к отнесению переживаний влюбленности именно в скрытую от социума, интимную часть жизни. Нина не рассказывает о своих чувствах Виле даже тогда, когда расстается с ним навсегда, а о том, что намекнула на свою привязанность одной из подруг, несколько раз сожалеет. Подобную ситуацию Катриона Келли описывает следующим образом: «С одной стороны, эти личные отношения, которые удивительным образом напоминают образцы, установленные в официальной литературе и, шире, в посланиях дидактического характера вообще; с другой стороны, эти отношения представляют и убежище от официальной культуры, альтернативный образ жизни» (2013:66). И именно факт создания подобного «убежища» кажется важным. Виля оказывается, пожалуй, в самом надежном месте памяти, сокрытом от посторонних глаз – он приходит к Нине во сне. Однажды Баснер пишет в дневнике, что видит его перед собой будто наяву: «Мне вспомнился Виля. Вот и сейчас вижу его перед собой» (Дневник Баснер, 26 августа 1939 года).

В одной из последних записей, сделанной уже в Ленинграде, куда Нина приехала поступать в техникум, она рисует состояние, близкое к помутнению рассудка: «В бане сегодня я встретила девочку, и мне показалось, что это Нома. Такая же милая мордочка и волосы; на остановке видела мальчика и показалось, что это Виля (я даже обошла и посмотрела ему в лицо), в какой-то маленькой девочке узнала Лёлю. Все черные девочки, худенькие мне напоминают Дину. Я помешалась» (Дневник Баснер, 30 августа 1939 года). Советское общество так и не стало для Нины «большой семьей», и она, кажется, мучительно пытается вернуть среду близких людей, воссоздать «малую семью».

ЛИШЕННЫЕ ЯЗЫКА?

Два рассмотренных дневника кажутся очень разными. Это закономерно, учитывая разницу в социальном, гендерном, образовательном «бэкграунде» авторов. Кажется, что их объединяет только факт пережитого травматического события. Однако даже реакция на это событие у них была совершенно разной – почти полное табуирование воспоминаний о родителях в дневнике Черневского и постоянная тема тоски по матери в дневнике Баснер. Различие в реакциях обусловлено, вероятно, как личными качествами, характером, так и тем, что жизнь Чинара гораздо меньше изменилась после ареста родителей – он не попал в детский дом, жил вместе с сестрой, не был вырван из привычной социальной среды и пр.

Однако есть три базовые черты, характерные для обоих дневников. Во-первых, авторы в целом остаются в рамках советского властно-идеологического дискурса, уделяют большое внимание официальным практикам и институтам (комсомол, советские съезды, выборы, юбилеи и праздники и пр.). Во-вторых, одновременно на страницах дневников присутствует «параллельная» частная,

интимная по своему характеру история, которая, кажется, не вполне соответствует советским идеалам поведения того времени («сокрытая» любовная история у обоих авторов; воспоминания о матери и рассказы об «ужасных» условиях жизни в детском доме у Баснер). В-третьих, арест родителей и его причины не становятся объектом последовательной рефлексии на страницах дневников (несмотря на значительные последствия его для авторов).

Почему же авторы дневников не подвергают события, связанные с арестом родителей, рефлексии? В страхе ли дело? Или это просто попытка скрыть ненужное от посторонних глаз? Вполне возможно. Однако есть еще один значимый фактор, о котором стоит помнить. Сам опыт травмы порождает молчание. Ведь травму определяют и как «физический опыт символической недостаточности, неспособность изложить историю того, что произошло», у нее «нет своего языка» (Ушакин 2009:35, 15). В качестве иллюстрации можно привести хрестоматийный пример интервью жительницы Лондона, пострадавшей от бомбежек, которая, отвечая на вопрос о разрушительных последствиях Второй мировой войны, ни разу не упомянула бомбы, но не переставая жаловалась на соседку, которая не вернула ей фунт чаю (Митчелл 2009:793). Однако у этой британки хотя бы гипотетически существовала понятная модель для описания собственной травмы (пусть и несовершенная, как любая попытка описать неописуемое). А каким образом могли описать собственную травму, оставаясь в рамках советского языка, авторы рассматриваемых дневников? Существовавшая перед ними альтернатива в этом смысле, вероятно, была следующей: либо отказ от привычного советского языка (а как следствие, опасность тотального подрыва самоидентификации) и поиск какого-либо другого (опять же возникает вопрос – какого? и возможно ли это было?), либо молчание. Кажется, можно сказать, что травма стала своеобразной бомбой замедленного действия внутри советского дискурса – она порождает поиск чего-то, что находится за пределами этого дискурса, и одновременно постоянную ситуацию недосказанности.

Говоря о «советской субъективности» сталинской эпохи, Игал Халфин подчеркивает, что позднесоветский субъект становится принципиально иным. Он задается вопросом: «Как случилось, что, коммунисты, столь старательно вписывавшие себя в официальный порядок, стали настолько критичны, отчуждены и нигилистичны? [...] В результате каких исторических преобразований достаточно многие начали использовать “ироническую субъективность” без особого риска? Действительно, что-то существенное произошло с советским дискурсом после 1945-го, или после 1953, или после 1968 года, что-то, о чем мы все еще знаем так мало» (Халфин 2002:406).

Возможно, основа таких стремительных изменений «советской субъективности» была заложена уже в 1930-е годы? Может быть, она была порождена травмой, давшей толчок тому отчуждению от официального и тому индивидуалистическому нигилизму, которые и создали «позднесоветский субъект»? Трудно говорить об этом с уверенностью, но рождение индивидуальной идентичности, отделенной от советского коллективизма и устремленной в пространство приватной жизни, – это именно то, что позволяют отчетливо увидеть проанализированные дневники.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Богданов, Константин. 2008. «Любить по-советски: figurae sententiarum». С. 27–39 в *СССР: территория любви*, под ред. Наталии Борисовой и др. М.: Новое издательство.

Келли, Катриона. 2013. «"В нашем великом Советском Союзе товарищ – священное слово". Эмоциональные отношения между детьми в советской культуре». *Детские чтения* 3(1):38–73.

Митчелл, Джулиет. 2009. «Травма, признание и место языка». С. 785–808 в *Травма:пункты*, под ред. Сергея Ушакина и Елены Трубиной. М.: Новое литературное обозрение.

Ушакин, Сергей. 2009. «"Нам этой болью дышать"? О травме, памяти и сообществах». С. 3–44 в *Травма:пункты*, под ред. Сергея Ушакина и Елены Трубиной. М.: Новое литературное обозрение.

Ушакин, Сергей и Елена Трубина, ред. 2009. *Травма:пункты*. М.: Новое литературное обозрение.

Халфин, Игал. 2002. «Синтаксис большевистского субъекта». *Ab Imperio* 3:403–408.

Халфин, Игал и Йохан Хелльбек. 2002. «Интервью». *Ab Imperio* 3:217–260.

Хархордин, Олег. 2002. *Обличать и лицемерить: Генеалогия российской личности*. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Хелльбек, Йохан. 2002. «"Советская субъективность" – клише?» *Ab Imperio* 3:397–402.

Hellbeck, Jochen. 2006. *Revolution on My Mind: Writing a Diary Under Stalin*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Дневник Олега (Чинара) Черневского. Архив общества «Мемориал». Ф. 2. Оп. 7. Д. 82.

Дневник Нины Баснер. Архив общества «Мемориал» АЛЖИР. Ф. Нины Каплан-Гонжуро.

"I'D RATHER NOT WRITE ABOUT IT ANYMORE": THE GREAT PURGE AND VICTIMS' CHILDREN. AN ANALYSIS OF THE DIARIES OF TWO TEENAGE KOMSOMOL MEMBERS

Artem Kravchenko

Artem Kravchenko is an academic staff member of the Public History Program at the Moscow School of Social and Economic Sciences. Address for correspondence: prospekt Vernadskogo, 82, Moscow, 119571, Russia. artemioskravchenko@gmail.com.

Based on the analysis of the diaries of two Soviet teenagers whose parents were victims of Stalinist repressions, this essay attempts to evaluate how the authors of the diaries processed their traumatic experiences and to what extent these experiences affected their identity. Central to this process is, of course, the phenomenon of omission. Nevertheless, the conflict between the official Soviet worldview and the teenagers' personal experiences could not be resolved purely through omission. In the diaries the authors

craft a distinction between their personal, intimate space and Soviet collectivist ideals. This takes places differently in each author's case. However, in both cases the necessity to view oneself as an exemplary Soviet person ceases to be either the only or the primary theme. By avoiding making challenges to Soviet ideals, the authors actively shape personal, intimate environments that no longer fit into the "big" official world of their surroundings.

Keywords: History of Childhood; Stalinism; Political Repressions; Great Purge; Diaries; Soviet Man; Victims of Terror; Soviet Utopia